

КОРАБЛЬ МЕРТВЕЦОВ

У одного из старых романтиков есть сказка о корабле мертвецов. Живые, потерпев крушение и спасаясь от бури в утлой лодке, попали на другой корабль; он был весь полон мертвецов, - как зачарованный: все лежали недвижно, один только капитан был прибит, пронзенный мечом, к мачте, - и глядел остановившимися глазами. Но по ночам все оживали, - и живые, спали они или не спали, во сне или наяву, спрятавшись за двери, могли видеть, как всю ночь напролет беснуются ожившие мертвецы, как будто совершают какой-то безумный обряд; наставало утро - и они опять становились неподвижны; все лежали, заполнив своими трупами весь корабль - на палубе и внутри - в тех же положениях, словно и не трогались со своих мест каждую ночь, и в той же недвижности, остановившимися глазами глядел капитан, пригвожденный мечом к мачте. Живые, попавшие на этот заклятый корабль (они потом узнали, что он - заклятый), поняли очень скоро, что он не двигается вперед, что беспомощно относится назад в море, едва он примет направление к земле, так что для живых не было бы спасения, - если бы они не обратились к силе священных заклинаний, о которых они вспомнили в своей ужасной судьбе, и с большой медленностью, но все же, наконец, - приблизились к земле и вышли на берег, и здесь узнали, что корабль был заклят за насильственную смерть святого дервиша: капитан был пират - он убил святого и святой проклял его перед смертью, обрекши его самого на смерть от рук взбунтовавшейся команды, команду - на смерть от междуусобной вражды и весь корабль - на вечное скитанье по морским волнам - назад и вперед, вперед и назад, с тем, чтобы все оживали каждую ночь, и каждую ночь переживали все ужасы последней, когда они были живы, - и так до тех пор, пока земля не коснется голов их; только тогда они рассыпятся в прах, только тогда они, наконец, и действительно умрут...

Не плывем ли мы на корабле мертвецов? Не попали ли мы, те, кто живы, на заклятый корабль, носящийся бессмысленно вперед и назад, по морским волнам, обреченные присутствовать на мертвом бешенстве каждую ночь с одной надеждой - когда-нибудь пристать к берегу, коснуться земли живой и даровать действительную смерть нечастным мертвецам - от того же соприкосновния с землей.

«Смерть вокруг, - говорит Бенуа (в своем последнем фельетоне), - новое искусство мертвое, и нельзя от него ждать жизни, если смерть вокруг!» Давно уже в нашем теперешнем положении о нашей современности не было сказано так сильно и страшно, с тем большей силой и наводящим страхом, что сказано с той простотой, задушевной до нежности, с которой немногие умеют говорить так, как говорит Бенуа обо всем, чего он ни коснется.

Мы носимся на корабле мертвецов, идя не вперед и не назад, мы окружены смертью. Что же это за смерть? Что за колдовство? И за что такое заклятье?..

Я вспоминаю по поводу этих слов – *смерть вокруг нас* – те же слова, давно сказанные по давнишнему, но, может быть, не совсем по другому

поводу. Когда Герцен, полвека тому назад покинув Россию, приехал в Париж, думая, что он из царства "мертвых душ", где только один смех был честным лицом, из городов, которые другой писатель назвал Некрополисами, т.е. тоже городами мертвых, и моля Бога о приближении на место царства их царства Божьего на земле, - когда Герцен приехал в "Париж, Париж!", - как он восклицал восторженно заранее, он увидал - повсюду, во всей Европе, на улицах, на кафедрах, в парламенте, в театрах, в литературе - смерть, а во главе ее живой мертвец Гизо, руководитель тогдашней конституционной Франции (влиятельной, - как всегда - по всей Европе), - подававший свою окоченелую руку представителю русской власти, правившей над мертвыми душами и Некрополисами. И Герцен бежал в Италию, - там, думал он, одна надежда на живую жизнь, там пробуждался народ, там он выходил на улицы и площади для новой жизни, в которую Герцен и окунулся, как для крещения; и навсегда, после множества позднейших томлений и разочарований, сохранил счастливое воспоминание о революционно-поэтической Италии, стране неумолкающей жизни.

Прошло полвека - и из той же Италии повеяло трупами, оттуда именно отплыл один из мертвых кораблей. Там капитан его - Маринети (так!) создал новое мировоззрение, основание нового искусства: футуризм или проповедь безжизненности, проповедь смерти... Да, смерти!.. а не жизни - этим отличается это новое движение от всех движений предшествующих, с его исповеданием техники, ремесл, машин, фабрик, заводов - аэропланов, автомобилей, взамен бунта против всей этой цивилизационной мертвачины, - чем и живо было до сих пор всякое искусство. Но, может быть, там в Италии, старинном гнезде пиратов, корабль еще не подвергся заклятию смерти, - может быть, приплыв в наши русские моря, он попал в ее атмосферу? или живой смерти обречены, как в сказке, все, начиная с капитана - с той минуты, как совершило было какое-то преступление против какой-то святыни? Я не отождествляю впечатления Герцена с впечатлением современного критика: они думают различно - для одного смерть - реакция, для другого - падение веры; но все-таки сопоставление напрашивается само собой, - и я хочу остановиться на этом. - Реакция или падение веры?

Разве это не одно? Разве падение веры не есть реакция? Разве там, где вера мертва, возможна революция? Разве революция не там, где вера? Я уже писал, говоря о "душе реакции", что реакция там, где никнет живая душа, где устает пафос - пафос и религиозный, о котором говорит Бенуа. Но религиозный пафос не есть только вера, но и любовь. Святость жизни в живой вере, принцип жизни - любовь, вера дает ей крылья.

И я думаю, что мы не только на ущербе веры, но прежде всего, на ущербе любви, потому и на ущербе жизни, потому и в реакции, и вообще, - в смерти.

Было сказано, что перед концом мира охладеет любовь. Я не знаю, близок ли конец мира, и охладела ли любовь навсегда, но иногда кажется, что она уже охладела!

Я наблюдаю, я переживаю это давно. И то, что явления ущерба любви раскрываются все шире и шире, для меня лично - ужасно, но не неожиданно.

И потому я с таким волнением не только слежу за современностью, не видя, где же конец этому, до чего это дойдет, и к чему это приведет, но оглядываюсь все чаще назад и на прошлое, не только на ближайшее, но и на довольно далекое, так называемые 60-е годы, для того, чтобы напомнить о той эпохе - не "великих реформ" лишь, но и великой любви, самой великой из всех - любви к людям, того, что не совсем точно именуют человечностью... Начало "грозы"? Но что это была бы за "гроза", если бы она двигалась психологически и даже идеально (пусть в самых бессознательных своих *идейных* колебаниях!) - не любовью? Революция - во имя чего же? материальных благ? Гражданской правоспособности, или даже политических конъюнктур? Конечно, конечно! Но не может быть, чтобы в глубинах революционных деяний - революционной души, революционной идеологии - не лежало любви! И это не отвлеченный, и тем более ложный идеализм, сантиментальный и ходульный, который подрывает силу реального действия и даже заменяет его собой, или - одно общее место? Да, возможно, что - общее место, но - которое выскользывает все больше из-под наших ног и без которого жизнь умрет, если оно ускользнет совсем!

Непосредственно - на каждом шагу - в воздухе - в случайных, кажется, незначащих словах, мимолетных замечаниях, иногда больше по отсутствии признаков, чем по присутствии иных, противоположных, - я чувствую везде и повсюду этот ущерб и охлаждение любви, и рядом с этим, как признак самосохранения, рост самообожания, ощущение себя все напряженнее, все настойчивее, я бы сказал, все воспламененнее, если бы думал, что о самообожании можно говорить как о внутренней самовоспламененности, - нет! Все суще. Представление о "сухости" всегда сливалось с представлением о равнодушии к окружающему миру и прежде всего к людям. Великий поэт начала теперь уже прошлого столетия, характеризуя современного ему человека, называл его душу "безнравственной" именно потому, что она была "себялюбивая и сухая" (Пушкин об Онегине). Эта сухость – следствие вырождения любви - есть к всех современных нам людей. Раньше этим томились и даже стыдились, кутаясь в "страждущую спесь", теперь не томятся, не стыдятся - и ни во что не кутаются.

Когда неделю назад я слушал лекцию мальчика, носившего, как мне передавали, еще в прошлом году гимназическую курточку, срывающимся, полуотроческим голосом повторявшего перед петербургской публикой, переполнившей огромную аудиторию на Моховой - свою московскую лекцию о новом итальянском эстетическом и вообще умственном движении, которое хочет себя проповедовать повсюду, я думал не о том, что манифесты Маринетти, провозглашенные им по бумажке, может быть, ему самому не совсем ясны, судя по тем дополнениям, которые он к ним присоединял не <нрзб.> (дефект!), этот ли самый разбитый стакан, поставленный им перед собой на кафедру, был разбит в Москве об его голову, - в чем сомневались кругом - и не о том, знает ли он сам, где низ и где верх картин, демонстрированных им на экране, и не перепутал ли он гитариста с ветряной мельницей или с улицей, и не о том, что он вообще говорит не свое и не от

себя. Я думал все о том же - об охлаждении души, о сухости, о внутренней безжизненности современных людей - несмотря на крик и азарт, и еще думал о том - хороший он мальчик или недобродушный? Или нас понесла уж такая стихия отлива, что не удержаться, и всем иллюзорно представляется, что мы несемся вперед, тогда как мы летим назад, или носимся взад и вперед, взад и вперед без остановки?

мальчик говорил о футуризме, о "лучизме" и пр., и исполнительно, и возбужденно, как на публичном экзамене, отчеканивал, что новое движение отрицает всю старую культуру. Не только со всеми ее художественными воспоминаниями и преданиями: античностью, Флоренцией, Венецией, во имя аэропланов, автомобилей, кинематографов, Эйфелевой башни, сапог из магазина механической обуви, - в этих пределах шла бы борьба вкусов, которая никогда страшной не бывает, но отрицанию подлежит едва ли не вся область человеческих стремлений, вся психология человеческая, издавна идеализируемая, все, что люди любили и любят: природа (здесь, правда, мальчик запутался), эротика, особенно романтизируемая, - здесь тоже было не все ясно: ненависть к женщинам выражена была не только в презрении свиданиям при луне и в новолуние, но и к материнству, и в предсказании, что в будущем будут приготавляться "механические сыновья": о том, что не будут приготавляться такие же девочки - подразумевалось, хотя почему-то не было произнесено; зато приветствовались суфражистки! Новое дотрицает "глупые мечты о всеобщем мире", о "человеколюбии"; оно исповедует вечную борьбу, войны, национализм. Мальчик не прибавил: и погромы, мальчик не сделал обобщения - и реакцию! Хороший он мальчик или недобродушный? Охладела любовь или не охладела?

Нет, не пустяки, и не просто мода на новые движения, которые теперь перед нами. И только случайностью было то, что на кафедре стоял мальчик, а не взрослый человек. И если есть в новых приемах живописи или поэзии фокусы - то, правда, в каком же новаторстве их не было? И потому отмахиваться от новизны словами - мальчишество, мода или чем-нибудь другим в этом роде - и легко, и успокоительно - но не надолго, пока неизбежно не наступят "следствия" - тогда-то мы отшатнемся, но тогда, может быть, будет уже слишком поздно.

А что если все, - ну, не все, а очень многие, - теперешние юноши, в общем, в массе, в том, что определяется понятием поколение, все футуристы, все преклонились перед успехами европейской техники до обожания, до восхищения, до одурения - не только эстетического, но и общественного, - до идеализации чуть ли не религиозной? Механически отпечатывают в своем безжизненном сознании и природу, и людей, и небо, и землю, а то, "чем люди живы", ушло от них, покинуло, и они среди нас уже с опустошенными сердцами? И каждый хоть сейчас сдаст экзамен не только словом, но и делом - на футуриста? И без всякой подготовки, без всяких лекций и без всякого Маринетти, и не думая заранее, что выше - сапоги или Шекспир, а инстинктивно всей своей охлажденной душой, всем своим существом утратит все влечения не то что к "запредельному", но ко всему, что зовет куда-нибудь

от механического "приятия" этого самого реального мира - автомобилей, кинематографов, башмаков, равных по красоте Венере Милосской, войн, погромов, исключения студентов за неотдание чести, арестов и самоубийств гимназистов, изнасилований новорожденных... и торжества суфражисток, которым ничего не останется в этом очаровательном мире, как, одевшись с иголочки, по-мужски, летать на аэропланах для собственного развлечения или для военных надобностей.

Охладела любовь, охладела душа вообще. Что значит, как не омертвение души - этот новый эстетический принцип: улавливать явления во что бы то ни стало в движении, подчиняясь процессу, а не владея им, останавливать его в художественном преображении (в чем и назначение искусства и для чего нужна душевная пламенность) , что это как не беснование мертвого сознания или агония впечатлительности, которая бесцельно гонится за ценой жизни, не ощущая ее сущности - воды живой? Или другой, в связи с этим, основной принцип нового сознания: в стремлении уловить процесс "разлагать" явление на составные части? Разве это не бессилие замирающей впечатлительности?

Я не знаю, какое значение имеет такая психология, такая "душа" для Италии, для Франции, для Англии, - о чужом со стороны судить трудно. Но знаю, что для нас это опустошение, это смерть, это - реакция. У нас мы все футуристы, если мы охладели любовью, если мы утратили то человеческое чувство жизни, которое по всем глубочайшим ощущениям и сознаниям спокон веков было или обожествляемо, или признавалось прямо божественным по своему происхождению и определяло собой все эпохи великих реформ и "великой любви"; если мы утратили то мировосприятие, которое улавливает и останавливает живыми глазами и руками сущность вещей, а не мертвющими губами ловить движения!

Буря разбила корабль живых, и, спасаясь, мы напали на корабль мертвцов...